

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ

«ЗНАКОМАЯ ЛЬВИЦА» И ДРУГИЕ ВИНЬЕТКИ

DOCTOR LIVINGSTONE, I PRESUME?¹

Это случилось, когда я выходил из библиотеки, в самом конце рабочего дня. А день был образцово калифорнийский, солнечный, сверкающий, один из тех, когда сидеть в помещении, что называется, грех. В промежутке между уроками я поплавал в бассейне, открытом небу и солнцу, но после семинара пришлось забежать еще и в библиотеку.

Посещать библиотеки я не люблю, тем более нашу университетскую, скудно укомплектованную, тесную, с низкими потолками и спертым воздухом. Особенно с тех пор, как в открытом доступе оставлен лишь минимум книг, а большинство перенесено в хранилище, откуда их надо заказывать заранее. С наступлением компьютерной эры библиотека одно время даже потеряла свою административную независимость, будучи подчинена безликому Отделению информационных служб (Information Services Division), но пару лет назад снова обрела ее и была возглавлена авторитетным начальником — деканом библиотек (Dean of Libraries).

Начальства я тоже не люблю — полагаю, ввиду общих своих проблем с интеграцией в социум, вина в этом, естественно, недоброй памяти советский режим. На американское-то начальство жаловаться не приходится, дай бог всякому, да и библиотека кое-какие книги выдает, а недостающие выписывает по межбиблиотечному абонементу. Как пел по радио в славные сталинские времена Владимир Канделаки, *А чего не хватит в доме — Сколько хочешь в гастрономе! Дели-два-дела!*

Рабочий день кончался, но солнце стояло по-прежнему высоко, и заряд бодрости, полученный в бассейне, еще не выветрился. Найдя искомую книгу, я пренебрег лифтом и резво побежал наверх, в отдел выдачи, по темной, хочется сказать черной, лестнице с высокими железными ступенями, чувствуя себя молодцом, предвкушая скорый выход из библиотечной пещеры и лишь по привычке проклиная про себя все ее нелепости.

Отдел выдачи расположен в просторном вестибюле, напоминающем античный атриум или интерьер готического собора. Это все еще царство теней, но виден уже и свет в конце туннеля. Ощущение сдавленности пропадает, полутьма утрачивает свой гнетущий характер, вдалеке за дверьми угадывается залитое солнцем крыльцо, а за цветными витражами — небо.

Поднявшись туда из недр библиотеки, я увидел, что навстречу мне с улыбкой узнавания движется престарелый джентльмен профессорского вида. Это было приятно. Его лицо казалось знакомым, но, кто это такой в точности, я вспомнить не мог (*Мало ли в Бразилии донов Педров?!*), он же подошел ко мне и протянул руку, которую я, все еще не узнавая его, любезно пожал, и тогда он, тоже любезно, произнес: «Dean Quinlan», что можно было понимать как «Дин Куинлан» или «Декан Куинлан» и на что я не менее любезно отвечивал: «Nice to meet you» («Очень приятно познакомиться»), приговорившись озвучить свою собственную неудобоваримую фамилию, но он опередил меня, проговорив с некоторым неудовольствием: «I am Steven Sample» («Я — Стивен Сэмпл»), и я сообразил, что в его первой реплике я не уловил интонации вопроса, типа: «Dean Quinlan, I presume?», главное же, до меня дошло, что передо мной — бессменный, с 1991 года, ректор (President) нашего университета, фотографии которого я видел неоднократно и даже в общих мероприятиях с которым несколько раз участвовал, но чью руку прямо вот так лично пожимать сподобился впервые.

Впрочем, поскольку он принял меня за кого-то другого, постольку действительность этого рукопожатия, во всяком случае его адресованность мне, оказывалась под вопросом (назваться-то я так и не успел), а с ней и степень осознания им того факта, что служит, мол, во вверенном ему университете профессор Бобчинский...

И уж во всяком случае в следующую минуту он начисто забыл обо мне, обнаружившем полное незнакомство с его августейшей персоной, так как к нему немедленно подскочила какая-то находившаяся неподалеку сотрудница и, обратившись по всей форме: «President Sample», повела его в глубины библиотеки, вероятнее всего, к загадочному декану или Дину. Я же, возвратившись после этого близкого контакта третьего рода на землю, предъявил студенту, работавшему на выдаче, добытую книгу и, пока он занимался ее оформлением, сообщил ему, что вот тут, у всех на глазах, только что развернулась небольшая сценка с участием самого ректора Сэмпла, о личности которого, как я рад был убедиться, студент тоже не имел ни малейшего понятия.

Осмысляя по дороге домой происшедшее, я пришел к выводу, что речь, по-видимому, шла все-таки не о Куинлане по имени Дин, а о некоем декане с такой фамилией, и, скорее всего, о декане именно библиотек, за какового ректор меня и принял — надо полагать, по внешнему сходству. Никого ниже маршалов этот император в свою визуальную базу данных, по-видимому, не допускал (в отличие от Наполеона, знавшего в лицо каждого ветерана), да и в маршалах, как выясняется, был порой нетверд. Поэтому, оказавшись в здании библиотеки, он мысленно произвел в ее деканы первого попавшегося мужчину подходящего возраста и вида. Решил, наверно, что это не может быть не кто иной, как владелец замка, вышедший встречать своего сюзерена (в текст опять просится Наполеон — на этот раз ожидающий на Поклонной горе депутацию с ключами от города).

Дома я заглянул на университетский веб-сайт. Меня ждало потрясающее открытие. Фамилия Куинлан действительно принадлежала декану библиотек

нашего университета, каковым оказалась Catherine Quinlan, привлекательная интеллигентная дама средних лет, седая, в очках, с мальчиковой стрижкой ежиком и решительным носом.

Я тут же вспомнил, что недавно имел случай видеть и слышать ее на открытии выставки, посвященной коллекционным изданиям «Дон-Кихота» (где не преминул публично обнаружить ошибку в описании одного из русскоязычных), а еще раньше успешно испросил у нее (правда, путем сугубо безличной взаимной переписки) небольшой вклад в бюджет нашей с Ладой конференции по Михаилу Кузмину (2006). Так что удар по самолюбию, нанесенный постановкой под сомнение моей мужественности, с лихвой искупался этими позитивными впечатлениями, а также виртуальным повышением меня в служебном ранге и значительным, лет на двадцать, омоложением.

Компьютерный поиск подтвердил факт знакомства с деканом Куинлан и самого ректора, всего два года назад с большой помпой объявившего о ее назначении.

Но стоит ли удивляться? В платоновской пещере, назови ее службой информации или библиотекой, с представлениями о мире дело, как известно, швах.

P. S. Quinlan — ирландская фамилия, по-гэльски (*Caoinlean*) значащая «стройный, изящный» (ср. *др.-ирл.* *caín* «милый, красивый; юный»). *Sample* — *англ.* «образец, образчик».

P. P. S. Виньетка писана в 2009 году. Стивен Сэмпл (1940—2016) президентствовал девятнадцать лет (1991—2010), последние десять из которых страдал болезнью Паркинсона. Его сменил Макс Никиас (р. 1952), но в прошлом, 2018-м был вынужден уйти в отставку из-за разнообразных скандалов в его университете. Только что выбрали нового ректора, впервые женщину. Кэтрин Куинлан успешно продолжает деканствовать. Я ходить в библиотеку перестал почти совсем.

БЕГУТ, МЕНЯЯСЬ, НАШИ ЛЕТА...

Известно, что с возрастом наше восприятие литературы меняется. «Войну и мир» мы каждые десять лет перечитываем по-новому. Текст остается тем же, но меняются времена и нравы, мы взрослеем, стареем, умнеем, глупеем, богатеем, беднеем, ссоримся, миримся, женимся, разводимся, мигрируем, мутируем — и текст мутирует вместе с нами. Выражаясь научно, читательская самоидентификация влияет на рецепцию. Борхес писал что-то такое, только не про «Войну и мир», а про «Дон Кихота».

Но, собственно, тревожить мировые шедевры нет необходимости. Возьмем простенький, со школьных лет запомнившийся стишок:

Один американец
Засунул в жопу палец
И вытащил оттуда
Говна четыре пуда.

Ничем как будто не примечательный трехстопный ямб, правда, с нестандартной — сугубо женской — рифмовкой.² Ну, детская фиксация на анальной топике, ну, залихватская гипербола (4 пуда = 64 кг), ну, типовая демонизирующе-экзотизирующая ксенофобия, принявшая в годы холодной войны предсказуемо антиамериканский характер. И даже, отдадим должное, лукавая лексическая игра

с точками зрения: американцу навязывается чуждая, зато «нашенская» система мер и весов — вместо привычных ему фунтов даже не общеевропейские килограммы, а типа исконно русские пуды.³ Вспоминается зоценковский американец, у которого *портянки небось белее снега*, и Форд, вокруг которого *одного электричества горит, может, больше, как на двести свечей*. Так что стишок в общем ничего.

Но главное не в этом. Главное в том, что на моих теперешних волнах — как геополитических, так и гастроэнтерологических — он звучит совсем иначе, интимнее, нутрянее. Сопереживается по полной.

ОЧКИ

Перелет из Москвы в Лос-Анджелес, которому предстояло оказаться, как сейчас говорят, знаковым, тянулся томительно, но в целом проходил беспроблемно, если не считать моей перистальтической озабоченности, осложнявшейся тем, что, сидя у окна, я должен был каждый раз тревожить не только Ладу, но и нашего внушительных размеров соседа, едва умещавшегося в кресле с краю. Впрочем, он всегда предупредительно вставал или разворачивался ногами наружу, и я, акробатически перемахнув через Ладу и протейчески прошуршав мимо него, отправлялся на поиски свободного туалета, а заодно и на оздоровительную разминку по салону. Время от времени мои вылазки облегчались тем, что совпадали с его позывами. В общем, все шло ни шатко ни валко, никак не предвещая судьбоносной пуанты.

Первым знамением семиотической искушенности развертывающегося сюжета стала разочарованная реакция нашего мясистого соседа на Ладино вегетарианское меню — по профессии он оказался мясником. Лада заверила его, что в земной своей жизни она вполне плотоядна.

Очки я на время полета обычно кладу в футляр и убираю подальше, но однажды, после попыток посмотреть фильм на мини-экране, этого не сделал и на очередную прогулку вышел в очках. Я посетил — без особых, увы, результатов — свою любимую, как правило, уютно пустовавшую, кабинку в хвосте самолета, пошагал туда-сюда по проходу, а вернувшись на место, констатировал сначала успокоительное отсутствие соседа в его кресле, а затем огорчительное — очков у себя на носу.

Я сразу вспомнил, что снимал их в туалете, и устремился туда, мысленно взвешивая шансы на успешное с ними воссоединение. Надо сказать, что мой опыт изобилует счастливыми исходами подобных коллизий⁴, и не далее как за неделю до отлета я оставил свой велосипедный шлем на скамейке перед банком, где долго ждал, пока Лада обменяет доллары, а когда она наконец выскочила оттуда, возмущенная жульническими речами кассира — разрекламированный снаружи приличный курс он объявил действительным «только для опта», — она не могла говорить ни о чем другом, и я совершенно забыл о шлеме, но когда через полчаса спохватился и вернулся, то нашел его нетронутым на той же скамейке (шлем, правда, старый, надтреснутый и вообще неказистый, так что соблазн похитить его невелик). Окрыленный удачей, я предложил развить ее, обменяв-таки деньги по выгодному курсу, однако Лада воспротивилась самой идее оставлять нашу благородную валюту в этом хамском учреждении.

Но к делу. Моя заветная кабинка оказалась занята и занята прочно. Прождав неправдоподобно долго, я даже подумал, что в ней, может, никого и нет,

а надпись «Занято» высветилась по ошибке. Но тут я заметил, что за дверью происходят какие-то странные передвижения, знак «Занято» временами зеленеет, потом опять краснеет, и почувал, что там ворочается кто-то непропорционально крупный — возможно, мой габаритный сосед. Прошло еще некоторое время, знак «Занято» то зеленел, то краснел, но вот послышался звук спускаемой воды, дверь открылась, и — дальнейшее превзошло все ожидания.

Собственно, мои количественные предположения отчасти подтвердились: вышел хотя и не наш мясник-тяжеловес, но и не обычный одинарный посетитель, а в известном смысле двойной — и какой! На пороге появилась стройная молодая женщина с одухотворенным еврейским лицом, ребенком на одной руке, искомыми очками в другой и моим именем-отчеством на устах.

— Александр Константинович, — заговорила эта мадонна с младенцем, — я сразу поняла, что очки ваши. Он хотел с ними поиграть, но я сказала: «Нет-нет, не трогай очки Александра Константиновича».

Эффект был ошеломляющий — неожиданный и всегда желанный. Вот она, слава!.. В общественном месте, черт знает где (а впрочем, некоторым образом на небе) тебя узнает первый встречный (а впрочем, как бы небесное создание), твои священные атрибуты оберегают от осквернения, благоговение перед твоим именем внушают детям...

Однако ситуация отдавала каким-то странным дежавю, чем-то подозрительно, как-то несолидно знакомым. Но чем? Я терялся в догадках.

— Спасибо. Мы встречались?

— Нет, но я знаю вас по работам и выступлениям. Я училась в Мэдисоне, у Юрия Константиновича...

Отчество Щеглова, тавтологически рифмующееся с моим, сама эта громоздкая, почтительно-интимная российская титулатура и, конечно, убийственная сюжетная рифма (сейчас, сейчас она прояснится) — весь подспудно просившийся наружу кластер вдруг предстал мне в своем жалком великолепии. Вспомнилась история полувековой давности — с Юриным переездом из загородной квартиры в коммуналку на Садовом кольце.

При случае я спросил, как ему живется с соседями после отдельной квартиры, и услышал, что хорошо. «Но, наверно, утром приходится ждать очереди в туалет? Или у вас расписание?» — продолжал ехидствовать я. «Да нет, — отвечал Юра, — эти ужасы преувеличены. И вообще приятно: соседи такие милые люди, утром настроение тяжелое, выходишь с полотенцем в ванную, а тебе кланяются: «Здравствуйте, Юрий Константинович!»⁵

Оставалось утешаться бесспорностью, сквозь какие очки ни смотри, неганданного инварианта.

МЫ ВСЕ ГЛЯДИМ В АРИСТОКРАТЫ

У меня было привилегированное, можно сказать, аристократическое детство. То есть оно было, конечно, советское и пришлось отчасти на войну (не говоря о сталинизме), но если выбирать между хрестоматийными крайностями, то скорее толстовское, чем горьковское. С любящими интеллигентными родителями, в отдельной квартире с балконом, в приличном («еврейском») кооперативе на тихой, но близкой к центру Метростроевской (Остоженке) (рядом с «домом Муму»⁶), летом на даче (правда, съемной), а порой и «в усадьбе» — в одном из Домов

творчества композиторов: в Рузе, под Ивановом, на Рижском взморье, в Сортавале (бывшем охотничьем доме маршала Маннергейма). Даже родился я, где все порядочные люди, — в роддоме на Арбате, «у Грауэрмана». Арбат — старый Арбат, воспетый Окуджавой (Новый прорубался уже на моей взрослой памяти), — был в пределах пешеходной досягаемости, мы ходили туда в «Зоомагазин» за рыбками и на толкучку за почтовыми марками. В школе были неплохие учителя (не могу не назвать Ольгу Михайловну Старикову, преподававшую в старших классах литературу), и я без отвращения окончил ее с золотой медалью.

Основная жизнь сосредоточивалась во дворе. Дворы были в большинстве проходные, и задней стороной дом выходил на огромный пустырь, где лютовали санкюлоты-бараковцы, но во внутренний двор, с символической оградой, лавочками и парой деревьев, посторонние забредали редко, тем более что напротив, слегка на горке, в старой деревенской избе жил местный милиционер (за которого вышла наша бывшая домработница, сохранившая в неприкосновенности оставленную в годы эвакуации на ее попечение четырехкомнатную квартиру, — любимая «няня Дуня» моего детства).

Считалось, непонятно почему, что я влюблен в сверстницу из второго парадного, Наташу с загадочно влекущей своей иностранностью фамилией Франк. Любовь была настолько платонической, что мы с ней никогда — ни разу за все долгое детство и отрочество — не обменялись ни словом, ни на каких общих мероприятиях (скажем, днях рождения) не встречались, вообще между нами не было ровно ничего, и догадывалась ли она о нашей судьбоносной связи, я не знаю. В дворовой жизни девчонки, которых в доме было не меньше, чем мальчишек, почти не участвовали — сказывалось раздельное обучение. Наташа же держалась совершенным особняком, быстро пробегая по двору в школу и из школы.

Внешне она была ничем не примечательна, среднего росточка, немного курносая, с чистым белым личиком, аккуратная, тихая, незаметная. Впрочем, сама эта тихость была у нее фирменная, семейная, унаследованная от матери, на которую в остальном она походила мало. Та была бесспорная красавица, с большими глазами, прямым носом, высоким лбом, всегда в строгих костюмах, на каблуках, немного уже отяжелевшая, внушительно молчаливая и смотревшая только перед собой.

Тут чувствовалась какая-то тайна. Они жили втроем: Наташа, ее мама и тетя, хромая, бездетная, смешливая. Никакого мужчины, мужа, Наташиного отца, в этом женском царстве не наблюдалось. Но однажды он, кажется, все-таки появился — высокий, широкоплечий, тоже мрачный, с пустыми глазами. Дело было то ли в разводе, то ли, поговаривали, в судимости, опять-таки то ли по уголовке, то ли по политике. А в конце сороковых — начале пятидесятых, в годы борьбы с «космополитизмом», Наташа сменила фамилию и стала Софроновой — понятное дело, по отцу, и, значит, вряд ли репрессированному; заодно поблекла и экзотика фамилии Франк.

Совершенно параллельно, но в другом, герметически изолированном отсеке моего детства за мной числилась другая «невеста» — Таня, дочка композитора Николая Пейко (1916—1995), с которым дружили мои родители. Общались мы в Домах творчества композиторов, на музфондовских елках и подобных праздниках, а пару раз, кажется, у них в гостях. Таня была миловидная блондинка, с хорошеньким овальным лицом (ясно вижу его перед собой), мы пунктирно приятельствовались, но откуда взялась идея нашего романа и будущего брака, не знаю — возможно, из шуток родителей. Николай Иванович был блестяще

образованный человек, серьезный композитор и педагог, да еще и шахматист (они с папой часто играли). Высокого роста, спортивный, он говорил немного сиплым, как бы пропитым голосом и казался простоватее, чем был на самом деле. Его отца арестовали и расстреляли в 1937-м, его учитель Н. Я. Мясковский подпал под постановление ЦК о формализме в 1948-м, и вдобавок ко всему он был женат на подлинной аристократке, из княжеской семьи Оболенских, тоже кругом репрессированных. Ирина Михайловна (1916—1988), единственная моя знакомая княжеских кровей, была обаятельной красавицей, с каштановыми локонами, решительным орлиным носом, невысокая, немного уже располневшая, но очень подвижная. Из нашего с Таней жениховства, разумеется, ничего не вышло, с тех отроческих пор мы больше не видались, но вот что приходит в голову в связи с занимающим меня аристократизмом. Обе мои Дульцинеи, и Наташа и Таня, были упрощенными версиями своих светлейших мам. Как поется в песне, *Вот так разлагалось дворянство, Вот так распадалась семья...*

Важнейшим очагом моего аристократического детства-отрочества был Московский дом ученых на соседней с Остоженкой Кропоткинской улице, ныне опять Пречистенке, основанный в 1922 году по инициативе Горького.⁷

Папа (мой отчим Л. А. Мазель) был доктором музыковедения, и мама (Д. С. Рыбакова) настояла на членстве, предоставлявшем определенные привилегии. Она же определила репертуар моих внешкольных занятий в этом престижном особняке. Вдобавок к игре на рояле и изучению английского с домашними учителями (часто сменявшимися из-за моего упрямого сопротивления) я ходил в Дом ученых на уроки бального танца и какой-то особой гимнастики.

Бальные танцы отдавали стариной и молчаливо противопоставлялись запретным западным. (Слова *фокстрот* и *танго* на время были исключены из официального лексикона и назывались — когда избежать упоминания о них было нельзя, — соответственно *быстрым* и *медленным танцами*.) Вела эти уроки прелестная Наталия Ивановна, дама былых времен, в зеленом костюме и обвивавших шею белых кружевах, с правильным лицом, обрамленным седыми буклями, и подчеркнуто прямым, но тяжелым станом (на ум приходит почему-то слово *турнюр*).

О сколь былых временах идет речь? Если учесть, что дело происходило году в 1950-м, а тогдашней Наталии Ивановне я бы дал около шестидесяти, то она должна была быть приблизительной сверстницей Ахматовой или в крайнем случае Цветаевой, то есть в полной мере дамой, выражаясь языком Паниковского, *с раньшего времени*. Под ее руководством, уводившим чуть ли не в XVIII век, я научился танцевать краковяк, польку, па-де-грас, па-де-патинер (патриотически переименованный в те годы в «Конькобежцев», что не мешало Наталии Ивановне стойко держаться французской ономастики), вальс и даже мазурку — да-да, *легко мазурку танцевал*.

Там у меня была постоянная партнерша, еще одна воображаемая дама сердца — сравнительная простушка Таня Костина, был и красавец-соперник — юный джентльмен тех времен Боря Лакóмский, но больше ничего на память не приходит. Имелся еще один приятель по Дому ученых, кажется, тоже из музыкальных кругов, но, может быть, не по урокам бального танца. Не помню, как его звали (Валерий?), но помню его некрасивое — «плебейское» — лицо и нескладную фигуру в мешковатом сером костюме (мы носили костюмы!) и помню, что у нас были какие-то свои дела в разных помещениях и закоулках вместительного особ-

няка; нам почему-то позволялось — несмотря на обилие всякого рода вахтеров, служителей, официантов и капельдинеров — бродить по этажам, проникать за кулисы и в ложи пустующего днем концертного зала, в общем, чувствовать себя как дома в этих роскошных чертогах.⁸ (Немного позже, году в 1954-м, я был там на концерте полуопального Вертинского; помню его усталую высокую фигуру с небольшим брюшком и уже слегка надтреснутый голос.)

А еще я посещал в Доме ученых уроки «гармонической гимнастики» — класс великой Алексеевой, тоже специалистки с раньшего времени (и на этот раз датировка вполне надежная, см. *Алексеева Людмила Николаевна, 1890—1964*, в «Википедии»). У Алексеевой был вид простецкой бой-бабы, такие же манеры и командный голос (все признаки истой аристократки). Спрос на нее был велик, так что в один класс набирались дети разного возраста, я бы сказал, от пяти до пятнадцати, но не исключаю, что там могли быть и совсем взрослые дамы. Повелевала Алексеева прежде всего своей небольшой труппой: ассистенткой Ирой Девяткиной (или Девятовой), рабочая кличка Девятка, — немолодой женщиной лет тридцати пяти, изможденной балетным режимом, с бледным веснушчатым лицом и спортивной, но полноватой (за исключением груди, которой практически не было) фигурой. Она работала в трико, демонстрируя классу те па и жесты, которые объясняла Алексеева, под музыкальное сопровождение бедно, но достойно одетого седеющего аккомпаниатора Алексея, кажется, мужа или постоянного партнера Девятки. Громко распоряжалась Алексеева и всем своим разношерстным классом, фамильярно выделяя как недотеп, так и любимчиков; из последних помню совсем маленькую, лет пяти, гуттаперчевую брюнетку по прозвищу Клякса (если память не подводит, дочь какого-то академика, не исключено, что Артоболевского). Занятия у Алексеевой были овеяны, по крайней мере в сознании мамы, именами Далькроза, Дункан и Станиславского, и девать-ся мне было абсолютно некуда.

Я упомянул усадебную ауру Домов творчества, и ей надо было бы отдать должное, но ограничусь абзацем из своего старого рассказа, где реалии слегка подретушированы, а для ступения эффекта все дано глазами бедной провинциалки:

Рая выросла в малокультурной семье, но одно время ее мать служила сестрой-хозяйкой в Доме творчества архитекторов на Рижском взморье. Девочка, наряженная во все самое лучшее, постоянно вертелась вокруг отдыхающих, и в памяти у нее навсегда засели разноцветные коттеджи, сад, населенный флиртующими дамами и кавалерами, и несколько лиц, причесок и фраз, которым суждено было обрести магическую власть над ее вкусами. Там были: гибкая девушка с кукольным лицом, вьющимися черными волосами и так шедшим ей экзотическим именем Ноэми; ее поклонник, полноватый, в массивных очках, отпрыск громкой литературной фамилии; и высокая блондинка с тонкими чертами лица и прямым, слегка длинным носом, как в дальнейшем поняла Рая, — недавно разведенная (запомнилась строчка из капустника: «Ирина, бывшая Бейнар»); за ней ухаживал малосимпатичный Рафа Реперович («плешивый отрок Рафаил»). На следующий год мать перевели на Урал, но с тех пор Рае часто виделось, как из объятий Ноэми, кокетливо заслонившейся ею, словно маленьким пажом, от своего кавалера, она смотрит вслед Ирине, идущей по дорожке в длинном цветастом халате, открывающем обнаженную ногу выше колена, и ей хочется то ли быть, то ли — как-то, непонятно как — обладать одновременно обеими.⁹

Вымышленной (но отчасти списанной с одной знакомой) Рае отданы райские впечатления одиннадцатилетнего автора (в его случае строго гетеросек-

суальные). Дом творчества композиторов был в Яундубултах; загадочное имя Ноэми (всего лишь женский вариант *Наума*) принадлежало дочке музыковеда В. М. Городинского (1902—1959); Рафа Реперович — композитор М. А. Меерович (1920—1993); И. В. Бейнар, согласно скупой справке Интернета, была актрисой МХАТа (1938—1948); громкая литературная фамилия — Толстой: речь идет о двадцатипятилетнем тогда композиторе Дмитрие Толстом (1923—2003), сыне «красного графа» Алексея Толстого (еще один сов-аристократический штрих) и отце моей коллеги и доброй знакомой Елены Толстой (еще один осколок империи в моей жизни). И, раз уж на то пошло, не забудем ее кузину Татьяну Толстую, с которой я на «ты» (хотя почти никогда не вижу) и отца которой Никиту Алексеевича (1917—1994) я немного знал в Коктебеле.¹⁰ (Коктебель был, конечно, еще одним окном в дореволюционное прошлое, но это уже в юности.)

...Русский человек — аристократ в душе. Русский, советский, русско-еврейский, русско-грузинский (как на этот счет татары, узбеки и ненцы, не скажу, не знаю), особенно если интеллигентный, в душе — аристократ, а в натуре — разночинец, с переменным успехом выдавливающий из себя совка. Выдавливающий путем работы над своим аристократическим самообразом. Не отсюда ли наши «английские» анекдоты?

Про лорда, выходящего под утро из прокуренного клуба, где всю ночь играл в карты, и спрашивающего у швейцара: — Чем это так воняет, Джон? — Свежим воздухом, сэр!

Про Робинзона Крузо, который водит по своему острову капитана, прибывшего забрать его в Англию, и на вопрос, что это за здание, отвечает: — Это клуб, где я бываю каждый вечер. — А это? — А-а, это другой клуб, в котором я принципиально никогда не бываю!

Про Абрама, который одевшись в Лондоне с иголочки (смокинг, цилиндр, зонтик), смотрит на себя в зеркало и плачет. — Что ты плачешь, что, Абрам? — спрашивает Сара. — Мы потеряли Индию, — с британским акцентом отвечает Абрам.

И не отсюда ли то как бы офицерское чувство чести, в силу которого я не мог не примкнуть к числу подписантов брежневских времен, что во многом определило дальнейшую кривую моей жизни?!

Мы все глядим в аристократы. То есть когда-то в России была худо-бедно настоящая аристократия. Тоже, правда, помесь, как уже отмечалось, татар с немцами, но все-таки. И начиналось дело обычно с простого мордобоя (а то и ползания на коленях перед ордынцами), но через несколько поколений порой вырабатывалось что-то достойное. Ребенок вырастал в идеальной усадьбе, все путем, и только уже в зрелом возрасте или даже в старости вдруг начинал стремиться к опрошению, косьбе наравне с мужиками, раздаче имущества, уходу из поместья, хотя особой спешки, если подумать, не было: достаточно было подождать лет семь, и имения, тяготившие совестливых владельцев, мужики начали сжигать дотла, а одобрявших это хозяев (заслушавшихся музыки революции) пускать нагишом (как сказал уже третий автор, но большой поклонник двух первых). Ну а что не успевали сжечь мужики, то национализировали новые бары, чтобы объявить правительственными дачами и санаториями.

Или наоборот. Ребенок рождался в мещанской среде, более или менее на дне, среди запаха красок (или дубленых кож), где-нибудь в Нижнем (или Варшаве), но тянулся к «книжному шкапу» — книгам, которым и был обязан всем лучшим в себе: благодаря им он становился новым помещиком, владельцем усадеб и особняков (на Капри, в центре Москвы, в Горках) или как минимум аристократом

духа, другом Ариосто, Петрарки и Тассо. Впрочем, жестокая — и почти одновременная — смерть поджидала в советской ночи обоих.

Был и вариант, оригинально совмещавший первые два. Рождался и рос герой в доме породистых предков, в особняке (где-нибудь на Большой Морской), выпитывая иностранные языки с молоком гувернанток и предаваясь ловле бабочек на даче (в какой-нибудь в Выре), потом лишался всего с приходом красной матросни, бежал сначала от нее, потом — дважды — от нацистской сволочи, а там и от американских простаков-студентов, пока не обретал наконец аристократический покой (где-нибудь в Монтрё), которым был обязан опять-таки книгам (с частыми вариациями на тему «короля в изгнании»; формулу нарочно беру не у него, а у двух плебеев — его советских современников).

Первый вариант — типично русский, органический, наследственный, второй — во многом еврейский, опосредованный, книжный, но Книга-то у евреев не чужая, своя, так что и с прямой наследственностью у нас все в порядке, можно сказать, самая потомственная аристократия на земле. К тому же в XX веке, веке Меркурия, тем более в советских условиях, интеллигенция была настолько проевреена, что даже удивительно, как это Горький — не *ex nostris*. («Такой интеллигентный нееврей», — позже напишет о себе Лимонов.)

Беда в том, что наш элитаризм — скоропортящийся, прерывистый, быстро обретаемый, еще быстрее отбираемый, потом опять наскоро восстанавливаемый. (Вспомним эпизод «Андрея Рублева», где отец *не передает* сыну драгоценного «секрета колокольной меди».)

Вот арестовывают (в 1937 г.) мать будущего писателя Василия Аксенова (1932—2009), Евгению Гинзбург (1904—1977), и тридцать лет спустя она детально описывает это в своем «Крутом маршруте». Что же поражает там больше всего? То, сколь неожиданным и возмутительным — незаконным! — кажется ей вторжение грубых энкавэдэшников в мирный, просвещенный, поистине гуманный уют ее безупречно партийной семьи, плоти от плоти благополучной коммунистической элиты — хозяев Казани, живущих в просторных отдельных квартирах и отдыхающих на обкомовской вилле «Ливадия», а то и в престижном подмосковном поместье:

Астафьево — пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского — было <...> «Ливадией» столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. «Линкольншики» и «бьюишники» котировались высоко, «фордошников» третировали. Мы принадлежали к последним <...>. [В] Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, [но] некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание...¹¹

Ее коробит чванство более высокопоставленных коммунистов — иерархическое расслоение новоиспеченной аристократии, но ей и в голову не приходит задуматься о незаконности экспроприации княжеских поместий (Бармалей в фильме «Айболит-66» объявляет прямо: «Это мой корабль! Я его захватил!»), не говоря уже о полной беззаконности режима, которому всего-то двадцать лет, но которому она — историк советского разлива (выученица казанского факультета общественных наук, 1920—1924), член ВКП(б) с 1932 г. (!), жена предгорсовета Казани — безоговорочно, как бы от века и навеки, предана всеми фибрами своей новодворянской души. О казни (сравнительно неподалеку, в Екатеринбург-

Свердловске) императорской семьи, о «философских пароходах», Соловках, уничтожении крестьянства как класса, судьбе Бунина, Ходасевича и Набокова и целого вырезанного или выпертого из страны культурного слоя у нее вопросов не возникает. Во всем виноват исключительно Коба, предавший ленинские нормы партийной жизни. Как поется еще в одной песенке,

Отец мой Ленин, мать Надежда Крупская,
Калинин дедушка, а Троцкий брат родной,
Мы жили весело семьей на Красной площади,
Но гуталинщик¹² нарушил наш покой!¹³

В лагере вопросы, разумеется, возникнут и кругозор расширится...

А потом — очередная ирония судьбы! — ее сын станет любимцем оттепельной элиты, потом изгоем-эмигрантом, а потом признанным российским классиком; ему даже вернут квартиру в высотке на Котельнической набережной, но он не оставит и своей виллы в Биаррице. А задолго до того опишет (в «Затоваренной бочкотаре», 1968) рафинированного советского интеллигента Дрожжинина, уникального специалиста по Халигалии, с его «подспудными надеждами на дворянское происхождение»!

Моя мама (1904—1954), сверстница Евгении Гинзбург, в партию не вступала, но была смолоду левачкой, членом РАПМа. Папа был чуть моложе (1907—2000), но не грешил даже и этим, однако в качестве рекордно молодого завкафедрой теории музыки Московской консерватории (1936—1941), конечно, занимал место, освободившееся от старорежимной публики. В свой черед он потом пострадал от антиформалистской (1948) и «антикосмополитической» (1949) кампаний, но до и после этих погромов мы жили уже описанной комфортной жизнью советской культурной элиты. В начале 1990-х папе пришлось пережить финансовый крах советской системы, все его сбережения и персональная пенсия обратились в труху, но к этому времени культурный капитал, полученный мной в привилегированной советской семье, я успел обратить в международный профессиональный и тем самым долларовый, так что мог прилично содержать его. После его смерти я унаследовал его квартиру на Маяковской, но своей собственной, остоженской, за копейки возвращенной кооперативу при отъезде в эмиграцию (1979), а сегодня являющейся бесценный real estate мирового уровня, лишился навсегда. (Как было припечатано по адресу одного из жителей Вороньей слободки: «А не летай!»)

Досадная прерывистость нашего элитаризма — не сугубо советская. Вспоминаются слова Павла I: «В России нет значительного человека (читай: аристократа. — А. Ж.), кроме того, с кем я разговариваю, и лишь <...> пока я с ним разговариваю». И чутко вторящего ему Пушкина, шестисотлетнего дворянина, который после случайной встречи на прогулке с императором Николаем признается знакомой (А. О. Смирновой): «Черт возьми, почувствовал подлость во всех жилах!»

Так что бог с ним, с аристократизмом. *Я мещанин, я мещанин!*

ЗНАКОМАЯ ЛЬВИЦА

После изматывающей болезни — остеомиелита шейного позвонка, потребовавшего шестинедельного внутривенного лечения антибиотиками, — я приходил в себя очень постепенно. На вечерних прогулках я далеко не сразу мог прийти

до любимого домика в полумиле от нас, да и потом, когда я немного окреп, мы все-таки делали паузу на том конце маршрута, прежде чем отправляться назад. И очень быстро сообразили, как оснастить эту остановку какими-никакими удобствами: стали брать с собой небольшую подстилку, коврик для йоги, и располагаться на травке под деревом на недолгий отдых. Редкие прохожие, в основном собачники, смотрели на нас с умеренным удивлением, но никаких протестов наши лежки, отчасти, конечно, наводившие на подозрения в бездомности (а хотя бы и так?!), не вызывали. Не прерывая своих дискуссий на литературные темы, мы проводили так минут десять-пятнадцать, потом скатывали свой половичок и отправлялись в обратный путь.

Это было полезно, удобно, приятно, смотрелось слегка провокативно и даже отдавало какими-то возвышенными коннотациями. Так что в дальнейшем, несмотря на общую поправку моего здоровья (я стал понемногу велосипедить, а там и плавать), мы этих профилактических привалов не отменили и по мере сил соблюдаем такой режим вот уже скоро три года. И дело, думаю, именно в его привлекательной архетипической подоплеке.

В чем же она состоит? Кое-что навскидку сформулировалось прямо там, под деревом.

Мы используем, причем регулярно, некий уголок природы, он же участок общественной территории, так сказать, «обживаем» его, но при этом никак его не помечаем, не огораживаем, не оборудуем, — оставляем каждый раз нетронутым, «диким» и делаем это вроде бы вопреки неким неписаным правилам, а впрочем, не особо их нарушая, и в результате незаметно, ненавязчиво, но последовательно апроприируем этот заведомо чужой, хотя и ничейный объект.

Где архетипы, там должны быть параллели, и они напрашиваются.

В одном романе Майн Рида, кажется, «Охотниках за растениями», заблудившиеся путешественники оказываются в какой-то долине, поражающей уникальностью своей флоры. В дальнейшем они выбираются из нее на нужную дорогу, но навсегда теряют координаты этого райского уголка и обречены лишь с тоской о нем вспоминать.

Ситуация сходная с нашей в ряде отношений, хотя и не целиком. Место ценное, никому не принадлежащее, вернее принадлежащее Большому Миру, героями вроде бы освоенное, но не помеченное, так что апроприация остается сугубо символической, ностальгической, ибо неповторимой. (Если бы нам пришлось покинуть Санта-Монику навсегда, травка под деревом безвозвратно ушла бы в прошлое, доступное только мысленно.)

Нечто похожее на майнридовскую долину есть в «Затерянном мире» Конан Дойла — то плато, где путешественники обнаруживают сохранившихся с прошлых геологических эр животных и даже так называемое «недостающее звено» между обезьяной и человеком. Но вскоре герои вынуждены бежать, спасая свою жизнь, и после их бегства все входы на плато оказываются перекрытыми, так что желанное место — как теперь выражаются, «место силы» — становится недосягаемым.

А вот пример попроще и поближе к нам. Это знаменитый «дуб князя Андрея» — адресат и в каком-то смысле респондент размышлений героя о кризисе среднего возраста и шансах на его преодоление. Дуб ему не принадлежит, никак им не помечается, из пейзажа не изымается и не выгораживается, да более того, при повторной встрече не сразу и опознается, но остается в его памяти и нашей

его символическим собеседником в мире Бытия. Знакомый дуб где-то в полях на пути в Отрадное.

«Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны, — подумал князь Андрей. — Да где он?» <...> и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца.

Согласия дуба, разумеется, никто не спрашивает; оно наличествует — эфемерно и символически — лишь в сознании князя Андрея. Но является важной составляющей нашего мотива — поиска/установления контакта с Миром, в котором мы ищем места, приятия, взаимности.

Не озабочиваются согласием дуба и герои более старой, но уже пародийной повести, вовлекающие его в свои взаимоотношения гораздо интенсивнее, чем князь Андрей.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. <...> Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной.

И уж тем более не пытаются заручиться согласием далекой звезды влюбленные, в один и тот же условленный час направляющие на нее свои взоры, чтобы ритуально преодолеть жестокую разлуку и воссоединиться друг с другом — опять-таки с одобрения и под эгидой Мироздания.

Конечно, по вечерам Николай и Соня должны были в назначенный час поднять взоры к одной и той же звезде. Без этого уж никак. Если участники эпистолярного романа в эту минуту находились поблизости, они старались помешать Соне раздвинуть занавески и украдкой бросить взгляд в звездную высь, звали ее в коридор: «Соня, подите сюда на минутку...», наслаждаясь ее смятением: заветный миг надвигался, а Николаев взор рисковал проболтаться попусту в окрестностях какого-нибудь там Сириуса или как его...

Речь опять идет о взаимности, но на этот раз не только о буквальной взаимности романтических влюбленных, но и о подразумеваемой, взыскуемой, закливаемой взаимности со стороны Мироздания, призванного поддаться гипнотическому воздействию их спаренных взоров.

Иногда эта ответная взаимность поэтически прописывается прямо в тексте — путем дерзкого сдвига точки зрения.

Они любили друг друга не <...> «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля над ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались.

Тот же, по сути, сдвиг, но мотивированный более или менее правдоподобно, находим в знаменитом в свое время романе о взаимоотношениях человека и хищного животного.

Выкормив осиротевшую маленькую львицу, героиня выпускает ее на волю, а потом едет к ней на свидание в саванну, и та, после эффектно затянутой нарративной паузы, наконец появляется из-за деревьев, чтобы признать свою приемную мать.

Если довести эту сцену узнавания до формульного блеска, получится что-то вроде: «знакомая львица в дикой Африке». (Впрочем, в романе все не так эффектно, более обыденно, мне пришлось немного усовершенствовать концовку.)

Так или иначе, перед нами очередная вариация на тему «отклика со стороны Мироздания» — очередной нарративный компромисс между Вещью в Себе и вещами для нас, между Внеположной Объективностью Природы и нашей экзистенциальной жадой взаимности. От львицы как одушевленного существа требуется-таки недвусмысленное согласие — согласие, при всей своей проблематичности (и тем самым чудесности!), реальное. Ведь львица одновременно и часть Природы, и член цивилизованного сообщества (гибридной семьи героини).

Ну а дальше пойдут ситуации приручения не зверей, а людей — представителей Второй Природы, часто не менее загадочной и неприступной, чем Первая.

Вспоминается небрежно-горделивая интонация, с которой полвека назад Боря Жутовский мог обронить: «У меня на Алтае есть один занятный старик!..» А из собственной жизни — «своя официантка», которая была у меня одно время в Москве, в далекие семидесятые, в кафе «Прага». Она по-матерински сажала и обслуживала меня почти без очереди (до сих пор помню ее лицо красавицы былых — уже тогда былых — времен, с темноватой кожей, как от многолетнего грима, и по-разному полуприкрытыми веками, и ее имя отчество — Тамара Ивановна).

Дело, конечно, опять в наведении хрупкого и потому драгоценного мостика личного контакта над равнодушием огромного мира. Это еще один вариант тютчевского покрова, накинутого над бездной, но над бездной уже человеческой, социальной, урбанистической. Тем охотнее мысль возвращается к безответно гостеприимному пяточку травы под деревом на тихой ночной сантамоникской улице неподалеку от дома.

¹ Доктор Ливингстон, я полагаю? (англ.).

² См.: *Гаспаров М. Л.* Метр и смысл. М., 1999. С. 88—119.

³ С исконностью у нас, впрочем, как всегда, проблемы.

Древне-русский *пудъ* (**пждъ*) <...> заимств. из сканд.; ср. др. — исл. *pund* «фунт» (!), которое восходит через англос. *pund* к лат. *pondus* «тяжесть».

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. 3. С. 401.

⁴ См., например, давнюю виньетку «Связи по смежности».

⁵ Это в виньетке «Privacy and its discontents».

⁶ В нашем скверике теперь есть памятник Тургеневу: 10 ноября 2018 г. его торжественно открыл президент. Памятник стандартно советский — настолько, что Тургенев, которого мемуаристы единодушно называли «великаном» (еще бы — метр девяносто два!), выглядит как энергично функционирующий пропагандист-агитатор среднего роста; такой памятник и открывать не обидно (<https://www.kp.ru/online/news/3292373/>).

⁷ См.: <http://www.cdu-art.ru/>.

⁸ См.: http://www.cdu-art.ru/dom_interiors.php.

⁹ Рассказ «Родословная».

¹⁰ См. старую виньетку «Случайные знакомства»; о советском аристократизме см. также виньетку «Дворянское гнездо».

¹¹ *Гинзбург Е. С.* Крутой маршрут. М.—Берлин, 2015. С. 34—35.

¹² То есть Сталин, с его кавказскими сапогами, который, однако, не был айсором — типичным уличным чистильщиком сапог в старой Москве (и даже на моей памяти).

¹³ Вариант: *Отец мой Ленин, а мать Надежда Крупская, / А дед мой был Калинин Михаил. / Мы жили весело на Красной Площади, / Усатый Сталин к нам обедать заходил!* По ходу песни Сталин поступает с героем нехорошо (*А мне статья с ужасным юмором досталась, / Я с ней весь Север, весь до горки, проканал*), и становится ясно, что обедами Сталина кормить не стоило (<https://www.youtube.com/watch?v=ET2CdIXd9mM>; один из вариантов А. Волокитина).